

НАТАША АЙВЕРС

УЗОРЫ
ПРОШЛОГО



Наташа Айверс
Узоры прошлого

«Автор»

2026

Айверс Н.

Узоры прошлого / Н. Айверс — «Автор», 2026

Катя никогда не мечтала о прошлом — ей хватало проблем в настоящем. Нудная работа в бухгалтерии, болезненный разрыв после пяти лет отношений, хроническая усталость и одиночество Разве это жизнь? Скорее — выживание. Но однажды всё меняется: первый снег, скользкий тротуар — и пробуждение в незнакомом месте, в окружении детей, которые зовут её «маменькой». Вокруг — чужой мир. 1815 год: тяжёлый быт, отсутствие привычных удобств и личной свободы. Но, может быть, именно здесь у Кати появится второй шанс: обрести семью, реализовать свой потенциал, заняться делом всей жизни и, возможно, найти личное женское счастье. «Узоры прошлого» — история о женщине, которой пришлось попасть в чужую жизнь, чтобы наконец прожить свою. В тексте есть: - бездетная попаданка в тело матери четырёх детей- купеческий быт и реалии 1815 года- создание текстильного дела с нуля- сильный молодой мужчина добивается героини- эмоции, семья и женское счастье

© Айверс Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
Глава 1	8
Глава 2	12
Глава 3	15
Глава 4	17
Глава 5	20
Г	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Наташа Айверс

Узоры прошлого

ПРОЛОГ

Я очнулась от холода... и невыносимого зловония. Запах был едким: гниющая капуста, конский навоз, кислое пиво и что-то ещё, тяжёлое, сладковато-тухлое. Попытка вдохнуть обернулась кашлем, дыхание вырывалось из груди короткими, рваными хрипами.

Под ладонями — что-то жёсткое, неровное и ледяное: мокрые доски. Они скользили под пальцами, покрытые мерзкой слизью, и от этого в груди поднялась волна отвращения. Казалось, запах этой гнили, вьёвшейся в дерево, прилипал ко мне. Хотелось отскрести с себя всё это, помыться, но я даже не могла толком пошевелиться — тело налилось свинцовой тяжестью, а голова гудела и раскалывалась.

Я пыталась понять, что со мной произошло. Последнее, что я помнила, — как, возвращаясь с работы, торопилась к метро. С неба сыпал первый снег, и тёмная гранитная плитка у входа стала скользкой, как лёд. В тонких осенних сапожках ноги скользили по ней, и я поскользнулась прямо перед дверьми, падая навзничь. Помню, ещё мелькнула глупая мысль: «Ну всё, сотряс обеспечен... зато не придётся заканчивать этот дурацкий отчёт».

Голова раскалывалась. Впрочем, неудивительно — шапку я, как всегда, не надела. Была бы шапка, может, удар затылка о плитку не оказался бы таким сильным. Но что это за нестерпимая вонь? И почему нет привычного гула машин, постоянного городского шума? Может, уже ночь, и улица опустела? А я теперь вот лежу где-то возле помойки... на каких-то вонючих досках.

Я попыталась открыть глаза, но веки слипались, словно их кто-то залил клеем. Лишь с третьей попытки удалось приподнять их — и над собой я увидела серое, низкое небо.

Попробовала привстать и вскрикнула: острая боль пронзила затылок, отдаваясь в висках и за глазами.

— Маменька? — раздался тонкий детский голосок совсем рядом, у самого уха.

Я скосила глаза и замерла. Надо мной склонилось лицо мальчика лет десяти. Щёки — красные, нос облезлый, под губой запёкшаяся царапина — видно, недавно упал или дрался. Большие тёмные глаза смотрели с тревогой каким-то взрослым взглядом. Одет он был странно: длинная, до колен, серая рубаша, накинутый поверх потёртый кафтан из грубого сукна, перехваченный верёвкой вместо пояса. На голове — нелепая фетровая шапчонка, точно такая, как я видела в «крестьянском зале» Коломенского музея.

— Маменька... — повторил он, дрогнувшим голосом. — Вы меня слышите?

Я не успела ответить как рядом возник второй мальчишка — лет восьми, худощавый, в короткой серой рубаше и холщовых штанишках, с красным от холода носом и грязными руками. Глаза его блестели от слёз, из носа тонкой струйкой текло, а он, утирая сопли рукавом, пытался улыбаться сквозь всхлипы.

— Вы упали, маменька! — выпалил он, хлопнув ладонью себя по затылку. — Назад прям... бух! — мальчишка изображал, как я грохнулась. — Об камень! Я думал, помрёте... вы глаза закатили и не дышите... ох и напугались мы... ой...я... — он запутался в словах, всхлипнул и снова натянуто улыбнулся, словно боялся, что я начну его ругать за слёзы.

Я села, опираясь на руки. Подол платья — да, настоящего, длинного, тяжёлого, из тёмно-вишнёвого сукна — был весь забрызган грязными коричневыми разводами, от которых несло конским навозом. Ткань была грубой, плотной, словно обивка для старого дивана, и непри-

ятно царапала кожу. Под платьем ощущалась ещё одна юбка, тоньше и мягче, но промокшая насквозь и тяжело облепившая ноги, холодя их.

Я подняла руки и уставилась на свои пальцы: они были грубые, неухоженные, с заусенцами, под ногтями — чёрные полоски грязи. Будто я не бухгалтер из офиса, а дворничиха. Рукава платья заканчивались у запястья узкими манжетами, и ткань на стигах была истёрта до ниток — явно повседневная одежда, которую носили годами.

Сапоги... если это вообще можно было назвать сапогами, были высокими и грубыми. Сшитые из толстой невыделанной кожи, они были тяжёлыми. Кривые швы местами топорщились, а на каблуках виднелись железные подковы. Кожа пропиталась влагой и задубела, будто деревянная. Я попыталась пошевелить пальцами ног, но они не слушались — окоченели от холода.

Я вытерла ладони о мокрый подол платья, потом потянулась к голове... и замерла. Под шляпкой нащупала тугой, гладкий валик волос, стянутый в жгут и аккуратно заколотый шпильками. Шпильками! Какими ещё шпильками, если у меня короткое каре?.. Я дернула прядь — больно, это определённо не парик. В горле встал ком, а паника подбиралась к горлу, сжимая грудь и не давая вдохнуть.

Я огляделась и дыхание перехватило. Это точно не мой район... и вообще не мой... век.

Вместо асфальта — кривой, скользкий деревянный настил. Между досками чернеет грязь и торчат ключья соломы. Дома — какие-то серые, перекошенные, с крошечными окнами, затянутыми мутной плёнкой. Плёнкой? Что это вообще? Будто кто-то натянул на раму кусок старой, пожелтевшей целлофановой обёртки. У порогов — мусорные кучи. Воздух тяжёлый, пахнет дымом, навозом и кислым пивом. Мимо проехала деревянная телега. Мужик в длинной, засаленной, непонятной одежде — то ли пальто, то ли кафтан — хлестал тощую лошадеёнку, изпод копыт которой брызгала грязь. На оглобле звякал ржавый колокольчик. Я поймала себя на том, что ищу глазами хоть что-то знакомое — машину, мусорный бак, светофор... Но вокруг не было ничего, что напоминало бы XXI век.

Боль в затылке пульсировала в такт сердцу, отдаваясь тошнотой в животе, и всё вокруг плыло, будто в тумане.

— Это... где я? — выдохнула я хрипло.

— Мы шли, маменька... — чинно начал старший, — на Кабацкую, папеньку вызволять.

Он говорил странно: выговаривал каждое слово, как взрослый. И эта «Кабацкая»... «папеньку вызволять»? Что это за бред?

— Папеньку? — переспросила я слабо. — Откуда... вызволять?

— Ну... с нашей пивоварни, — вставил младший, ковыряя ногтем рукав. — Сегодня дядька Захария деньги раздаёт. В этот день вы... ну, вы всегда на папеньку кричите, а он смеётся, а мы... ждём. Рядом стоим.

Старший нахмурился, взглянул на брата, будто хотел его одёрнуть, но ничего не сказал.

— Нет... — прошептала я. — Этого не может быть.

Я попыталась подняться, но боль в голове заставила меня зажмуриться, и мир качнулся. Мальчики кинулись ко мне, подхватывая под руки и поддерживая, как могли, словно боялись, что я снова упаду.

Я вскинула голову как раз в тот момент, когда из окна второго этажа вытянулась рука с какой-то миской. Содержимое с хлопаньем полетело вниз, расплескавшись прямо на деревянный настил улицы и подняв едкий запах, от которого у меня защипало глаза.

Я оцепенела. Ну вот и всё — головой я приложилась знатно. Наверное, сейчас лежу в больнице в коме, а всё это мне просто снится. Да, это объяснило бы и грязь на руках, и тошнотворные запахи. Мозг, наверное, так странно реагирует на травму.

Я стояла, сжимая руку старшего мальчишки, и пыталась убедить себя: это не по-настоящему. Ударилась головой — и теперь мозг рисует эти дикие картины. Только вот вонь вокруг была настолько реальной, что от неё кружилась голова.

— Маменька... — тихо позвал старший. — Вам лучше? Мы пойдём за папенькой?

Он смотрел на меня снизу вверх таким жалким, растерянным взглядом, что сердце защемило. Папенька... пивоварня... Эти дети, кажется думали, что я их... мать.

— Сегодня... — я запнулась, чувствуя, как дрожит голос. — Сегодня не пойдём. Мне... нездоровится. Давайте-ка домой.

Они переглянулись и кивнули почти одновременно — серьёзно, словно взрослые. Старший протянул мне руку, и я, осторожно ухватившись за его тонкое, холодное запястье, сделала первый шаг. Мы шли медленно, и я ощущала, как каждая часть моего тела протестует: затылок ныл, ноги гудели.

Мы шли всё дальше, и чем больше я оглядывалась, тем яснее понимала — никакой это не сон. Сон не бывает таким осязаемым. Во сне не чувствуешь, как дубовые сапоги натирают пятки до кровавых мозолей, как жёсткая шнуровка давит на рёбра так, что каждый вдох даётся с трудом.

— Маменька, осторожнее, — старший мальчик держал меня за руку крепко, как взрослый мужчина. Его пальцы были шершавыми, мозолистыми, как будто он уже привык работать.

Кто эти дети? И почему они называют меня маменькой? Я всмотрелась в их сосредоточенные лица — и сердце болезненно сжалось. В этих глазах, слишком серьёзных для их возраста, было что-то тяжёлое: постоянное ожидание беды, какой-то безысходности...

«Хорошо, — подумала я. — Пойдём... «домой». А там разберёмся».

Глава 1

На улицах стояла промозглая серая погода. Октябрь медленно набирал силу: мелкий дождь то усиливался, то почти исчезал, но так и не прекращался. Сегодня к нему добавились колючие капли — не поймёшь, то ли дождь, то ли ранний снег. Влага забиралась за воротник, пробиралась под одежду. Всё вокруг выглядело выцветшим: небо, дома, лица прохожих. И я сама — словно растворялась в этом блёклом пейзаже.

На работу я шла как на каторгу. Не скажу, что я её так уж не люблю — обязанности привычные, всё вроде бы получается, начальство хвалит, да и с коллегами у меня нормальные отношения. Но сегодня... не хотелось ничего. Ни говорить, ни улыбаться, ни общаться. Просто двигалась в режиме автопилота, потому что сил не было — ни моральных, ни физических. Даже утренний макияж казался такой непосильной задачей, что я обошлась тональником, чтобы скрыть следы бессонницы, и тушью — не для красоты, а чтобы не пугать коллег своими опухшими веками.

Я никогда не позволяла себе слов вроде «депрессия». Они звучали слишком громко, чуждо, как будто из жизни кого-то другого. У меня это называлось проще: ничего не хочется.

А причина... он.

Тот, с кем я пять лет делила жизнь — со всеми её радостями, горестями, вечерними сериалами на диване, ссорами на пустом месте и примирениями под одним одеялом. Пять лет мы жили вместе, не месяц, не год — почти вся моя взрослая жизнь после смерти мамы. Он знал, что я боюсь грозы и ненавижу запах лилий, смеялся над моей любовью к старым вещам, которые хранили дорогие моему сердцу воспоминания, но всё равно приносил мне чай в маминой кружке с трещиной когда я болела, потому что знал — так мне уютнее.

Витя был рядом. Он был моим другом, моим возлюбленным, моим домом.

А потом, однажды утром, перед уходом на работу он сказал, что нам нужно поговорить. Хотя говорил, по сути, только он один, я же... просто сидела и молчала, потому что потеряла дар речи сразу как только услышала его: «Я тебя больше не люблю.»

А дальше я помню плохо. Помню, что рыдала и просила дать нам шанс, цеплялась за него, за нас и бесконечно спрашивала: «почему?» и «что я сделала не так?»

Он отводил взгляд, капал мне валерьянки и тихо просил прекратить истерику. А потом сказал, что надо расстаться спокойно, по-взрослому, без сцен, как «цивилизованные люди». И я замолчала. Просто сжала губы и молча глотала слёзы, пока он собирал свои вещи. Я больше его не останавливала, не плакала и не кричала. Просто смотрела, как за ним закрывается дверь. А внутри... будто кто-то выключил звук и цвет. Мир стал плоским, серым и безвкусным.

Вроде бы он всё объяснил: его чувства перегорели и дело не во мне. А мне ничего не оставалось, кроме как попробовать жить дальше — с этим его решением. Насильно мил не будешь, как говорила мама.

Вот только я-то его всё ещё любила. И что мне было делать со своей любовью? С этой болью, которая не отпускала, а просто спряталась поглубже?

С тех пор прошло полгода. За это время я собирала себя по кусочкам — тихо и упрямо. Просто жила, работала, старалась не вспоминать, не ворошить прошлое. Подружилась с Таней из рекламы и Аней из отдела кадров — мы вместе обедали, болтали в мессенджере, даже пару раз ездили в выходные за город. Я снова взялась за рисунок — понемногу, просто для себя. И даже сходила на пару свиданий. Да, они были немного неловкие и совершенно не впечатляющие, но это был первый шаг. Я научилась идти дальше, жить без него и для себя.

И всё было отлично. Пока не наступила прошлая пятница. Я пошла в торговый центр за красками — ничего особенного, просто закончилась охра. Шла себе спокойно, составляя в голове список дел на выходные.

Сначала я даже не поняла, что именно меня кольнуло. Просто что-то ёкнуло внутри, когда взгляд задержался на паре у выхода из кофейни на первом этаже. Мужчина стоял рядом с женщиной и ласково поглаживал её живот — небольшой, едва заметно округлившийся под расстёгнутым пальто. А она, в ответ, положила ладонь на его руку — тонкую, нежную, доверчивую.

Я уже собиралась отвернуться и вдруг узнала его. И всё сразу стало на свои места. Это был он, мой бывший, тот самый человек, с которым я прожила пять лет, с которым я мечтала купить дом, родить детей и завести собаку. Тот, кто морщился каждый раз, когда я заводила разговор о колясках и роддоме и говорил: «Не время. Я ещё не готов. Хочу пожить для себя».

А теперь он стоял у дверей кофейни, обнимал беременную женщину и улыбался.

Я застыла у выхода из магазина одежды, почти спряталась за стойкой с осенними куртками. Я стояла, глядя, как они смеются, что-то шепчут друг другу, как он бережно держит её за талию.

Наши глаза вдруг встретились — и он... смутился, как школьник, которого застали за чем-то неприличным. Но он так и не кивнул, никак не дал понять, что узнал меня, просто отвёл взгляд — будто я была пустым местом или неловким воспоминанием.

Я развернулась и ушла. А дома пришли слёзы, горькие и жгучие, от которых горит лицо и першит в горле. И только одна-единственная мысль стучала в голову: «Значит, не детей ты не хотел. Ты не хотел детей от меня.»

Все выходные я пролежала дома, свернувшись калачиком на диване, с телефоном в руке. Будто и не было этих шести месяцев, за которые я успела вновь почувствовать вкус к жизни... без него.

В соцсетях неумолимо крутилась карусель фото и видео чужих детей, семейных поездок, домашних питомцев, ремонтов и счастливых лиц. Я листала ленту медленно, словно в вязком сне, с тоской, будто смотрела на чужую жизнь сквозь запотевшее стекло витрины.

В понедельник я еле встала. Ноги не шли — я их волочила. Даже мой утренний латте с корицей и мёдом, который обычно возвращал меня к жизни, не спас. Я не чувствовала ни вкуса, ни запаха. Голос начальницы, звонкий трёп у принтера, даже прибежавшая с шоколадкой с цедрой апельсина и морской солью коллега: «Катя, ты гений, опять в последний момент с командировочными выручила!» — пролетели мимо меня.

Я кивнула:

— Не за что, — и спряталась за монитором.

К обеду начала раскалываться голова, но таблетки остались дома. В ушах стоял гул. Хотелось выйти на воздух, вдохнуть глубже, сбежать куда-нибудь — подальше от офиса, может, на природу, в парк, к воде, просто сесть и порисовать, почувствовать себя свободной, живой.

Вспомнить, какой может быть жизнь...

Когда-то, в детстве, я очень любила рисовать. Могла часами просидеть над одним листом, перерисовывая мячик, лист дерева или любимую игрушку. Больше всего мне нравилось повторять узоры и орнаменты, тщательно выводя каждую мелкую деталь, линии и формы.

Мама даже отвела меня в районную художественную школу на Преображенке. Там было холодно и пахло мокрыми тряпками, гуашью и чем-то горько-масляным, вроде старого лака. Нас было человек десять детей, приблизительно одного возраста. Нам выдали бумагу, краски и сказали: *«Рисуйте что хотите. У вас два часа.»*

Все принялись творить. Кто-то нарисовал кошку, кто-то домик с трубой и солнцем в углу. А я — снежинку. Точнее, много снежинок, таких разных и в то же время одинаковых. Я часами могла вырисовывать узоры — тонкие, замысловатые, повторяющиеся. Они казались мне красивыми, правильными и успокаивающими.

Потом преподаватель, Мария Алексеевна, собрала все листы. Мой долго вертела в руках и наконец выдала свой вердикт: «Воображения не хватает. Всё одинаковое. Очень механично.»

И меня не взяли. Мне тогда было лет девять, и я очень старалась не заплакать при маме. А дома запрятала краски подальше, и сказала маме, что мне просто разонравилось рисовать. С тех пор я долго не рисовала, вплоть до... маминой смерти.

Тогда только рисунок и спасал... и Витя, которого я встретила на одной из выставок молодых художников. Я тогда совершенно случайно, увидела рекламу в метро. Когда пришла на выставку, Витя стоял у картины, которая меня зацепила — сдержанная чёрно-белая графика повторяющихся форм и только одна из них ярко алое пятно.

Он повернулся, посмотрел на меня и сказал:

— Она будто немая, да? А это пятно как будто кричит.

Так мы и познакомились.

Рабочий день тянулся медленно и безрадостно. Я открывала таблицу за таблицей — сводный баланс за квартал нужно было сдать к завтрашнему дню, но цифры упрямо не сходились. Пару раз ловила себя на том, что просто смотрю в экран, не понимая, что передо мной. Мысли возвращались к тому, что увидела в пятницу.

— Катя! — окликнул кто-то. Я вздрогнула от неожиданности.

Это была Марина из отдела снабжения — уже в пальто, с сумкой на плече.

— Рабочий день давно закончился! Ты чего тут сидишь? Пошли, я тебя до метро подкину.

Я покачала головой:

— Нет, спасибо. Пройдусь.

Она помахала на прощание, исчезла в коридоре, хлопнув входной дверью. Я выключила монитор, встала, одёрнула свитер и натянула тонкое пальто. На улице уже было холодно, но за всеми этими переживаниями в выходные я так и не достала тёплое осеннее пальто. Просто не дошли руки.

Выходя из здания, я остановилась на секунду, запрокинув голову. Мелкие, почти невидимые снежинки падали на землю в тусклом свете фонаря. Первый снег в этом году кружился, цеплялся за ресницы, таял на щеках.

И вдруг внутри что-то поднялось, почти крик, беззвучный, но отчётливый.

«Мама... ну почему так?»

«Почему так выходит? Вроде бы я всё делаю правильно... Но ничего не получается. У других — семья, дети, дом, любовь. А у меня всё как будто наперекосяк. Я ведь правда этого хочу — семью. Ребёнка. Нет... детей! Я же не прошу идеальной жизни. Только возможности любить, заботиться, быть рядом, быть кому-то по-настоящему нужной и... любимой.»

И вдруг, в голове услышала мамин голос, вспомнила так ясно, будто она стояла рядом.

— Под лежащий камень, Катюш, вода не течёт... Хочешь что-то изменить — хватай быка за рога и меняй.

Она это говорила всегда — упрямо, твёрдо. Когда я боялась поступать, когда она заболела, когда хотелось сбежать от всего — она повторяла:

— Никто за тебя твою жизнь не проживёт. Если упадёшь — вставай. Пока можешь идти, иди.

И почему-то именно сейчас, под этим первым снегом, эти слова всплыли в голове особенно отчётливо. Моя сильная, нестигаемая мама. Та, что всегда умела держать спину прямо. Даже когда было невыносимо больно. Если она смогла, значит и я смогу.

Я глубоко вдохнула. Хватит жалеть себя и цепляться за то, что давно ушло и уже не вернётся. Если раньше где-то глубоко в душе теплилась наивная надежда, что Витя передумает и вернётся — теперь всё стало окончательно ясно. У него — новая жизнь, женщина и ребёнок на подходе. А мне пора выбираться из тени нашего прошлого и, наконец, подумать о себе.

Да, горько и обидно — так ошибиться в человеке. Обидно за все те годы, что ушли впустую. Но сколько можно хандрить? По пролитому молоку не плачут. Пора что-то менять — и не с понедельника, не с завтрашнего утра, а с сегодняшнего вечера. Приду домой, сяду за стол, возьму чистый лист бумаги — и намечу план. Пока не знаю, из чего он будет состоять, с чего начать... Но дальше так жить нельзя.

Я пошла к метро. Холод пробирал до костей. Надо было надеть зимние сапоги на тракторной подошве. Но утром я, не глядя, натянула те же — на тонком каблуке, в которых ходила на свидание на прошлой неделе. Тогда было тепло и асфальт сухой. Сегодня же под ногами — тонкая плёнка подтаявшего снега.

Каблук скользнул на тёмной гранитной плитке перед входом на станцию. Мир дёрнулся. Я не успела даже вскрикнуть, как полетела навзничь.

Последней моей мыслью было: «Ну всё. Сотряс обеспечен... зато не придётся заканчивать этот дурацкий отчёт.»

Глава 2

Мы шли молча.

Дети с двух сторон бережно поддерживали меня под локти. Старший шёл с выпрямленной спиной, глядя строго вперёд, младший же то и дело поглядывал на меня украдкой, но всякий раз, встретившись со мной взглядом, поспешно опускал глаза.

Чем дальше мы уходили от того места где я очнулась, тем опрятнее становились улицы. Исчезли мусорные кучи у порогов, перекошенные крылечки и облупленные ставни. Настил под ногами выровнялся, доски лежали плотно, без щелей. Вместо покосившихся изб начали встречаться добротные дома: на высоких фундаментах, с аккуратными резными карнизами, выкрашенные в охру, кремовый или светло-серый цвет.

Из-за заборов тянуло тёплым, сытным духом — пахло то свежим хлебом, то блинами, а местами и баннным дымком. От этих запахов щемило в груди: почему-то именно они напоминали о доме. Я поймала себя на мысли, что надеюсь: вдруг и там, куда мы идём, всё будет так же.

Окна украшали резные наличники — выцветшие от солнца и дождей, но крепкие, аккуратно подкрашенные: тёмно-синие, песочные или зелёные. За чистыми штакетниками тянулись палисадники: голые кусты смородины и крыжовника, подвязанные к кольям, и чёрная рябина с редкими, поблёкшими гроздьями.

Ограды стояли добротные, с коваными петлями на калитках, свежеекрашенные, словно к осени всё было приведено в порядок. У одного двора виднелся колодец с восьмигранной деревянной крышей, крытой тёсом, потемневшим от дождей. Рядом — ведро, аккуратно положенное набок, чтобы в него не набиралась дождевая вода.

Всё вокруг говорило о достатке — спокойном, без лишнего блеска, но основательном хозяйстве, устроенном на совесть. Повсюду царил порядок: купеческий, расчётливый, с приглядом на годы вперёд.

«Это уже не глушь, — мелькнуло у меня в голове. — И явно не самая бедная часть города. Похоже, купеческая... Зажиточная.»

И всё же мы не свернули к парадному крыльцу одного из аккуратных домов с белёными стенами и резным карнизом, а юркнули в узкий проулок между соседними строениями. Там нас ждал невысокий деревянный забор и калитка с простой перекладной вместо запора.

Мы очутились во дворе: деревянный сарай, сушилка с бельём, кадка для золы и куры, которые испуганно вспорхнули, заслышав шаги. Мы поднялись по ступенькам. Это удивило меня. Почему мы не зашли с парадного входа? От кого мы прячемся?

Я подняла глаза на дом. Деревянный, высокий, со стёклами в окнах — пусть мутными, но настоящими. Со стороны двора виднелась открытая веранда. Всё говорило о достатке.

— Маменька... — тихо сказал младший. — Пойдёмте.

Мы прошли через узкое, тёмное, прохладное помещение, за которым открывалась кухня. В голове вдруг всплыло слово: сени.

Пахло печным дымом, кислым квасом, дровами и старым хозяйственным мылом. Из сеней мы вошли прямо в просторную кухню: низкий закопчённый потолок, тяжёлые балки, к которым были подвешены пучки лука, косы чеснока и душистые травы — мята, чабрец, звербой. Над печью висели связки сушёных грибов, а в углу, на вбитых гвоздях, качались косы каких-то корнеплодов — то ли редьки, то ли репы, в свете казавшиеся одинаково серыми и сухими. Воздух был тёплый, натопленный, густой — так и обволакивал с порога. В дальнем углу стояла старая русская печь — массивная, с лежанкой наверху и открытым устьем, откуда тянуло не только теплом, но и сытным запахом пшённой каши.

У стола хлопотала женщина — крепкая, широкоплечая, в тёмном простом сарафане и домотканой холщовой рубахе, закатанной по локоть. На голове — платок, завязанный на

затылке. Она месила тесто в деревянной кадке. Лицо у неё было грубоватое, с резкими скулами, высокими бровями и упрямо сжатыми губами, как будто она вечно чем-то была недовольна. Когда мы вошли, она даже не обернулась, лишь глухо скомандовав:

— Тимофей, живо умываться — и за Савелием пригляди!

Она вытерла руки о фартук, не глядя в мою сторону, и сухо произнесла:

— Изволите проходить, Екатерина Ивановна?

Пауза.

— Ужин, если соизволите, будет подан через четверть часа в столовой.

Тимофей — как я теперь поняла, старший — подтолкнул младшего и что-то строго ему шепнул. Оба скинули шапки, повесили на гвоздь у входа и юркнули обратно в сени. Я последовала за ними.

Там, за перегородкой, стоял умывальник: жестяной таз на деревянном табурете, кувшин с тёплой водой, кусок коричневого мыла и полотенце на крюке. Узкое окошко под самым потолком пускало в закуток бледную полоску света. Мальчишки ополоснули руки — наскоро и без мыла. А вот до лиц так и не дошли: на щеках, у висков, под подбородком остались чёткие разводы грязи. Они и не собирались их смывать, развернулись и уже было собрались идти на кухню когда я не выдержала.

— Пойдите, — сказала я, закатывая рукава. — Ну-ка, Савелий, иди сюда.

Он посмотрел исподлобья, с подозрением, но, поколебавшись, вернулся обратно. Маленький, худенький, с взъерошенной чёлкой и упрямым подбородком. Я взяла его ладошки с тонкими пальчиками и тёмными полосками под ногтями — и аккуратно ополоснула в тёплой воде. Потом намылила мылом, растёрла между пальцами, вымыла грязь из-под ногтей и закатав ему рукава, вымыла запястья. Савелий чуть поджимал губы, но не отстранялся. Даже расправил плечи — гордый, что терпит, как взрослый и прижался к моему боку.

Я поднесла кувшин, осторожно полила воды ему на лицо, и он инстинктивно зажмурился, но не возмутился. Я намылила свои руки и начала стирать грязь с его щёк — сначала одной, потом другой. На лбу и под подбородком грязь прилипла особенно прочно — там пришлось немного потереть. Он фыркал и улыбался, а когда я чуть отогнула ворот рубахи и начала мыть ему шею, тихонько захихикал.

— Щекотно? — спросила я, улыбаясь.

Он кивнул и вдруг посмотрел на меня снизу вверх — так открыто и довольно, с такой доверчивой мордашкой, что у меня сердце сжалось от нежности.

А потом этот непоседа вдруг резко повернулся к брату, который стоял в дверях, и, скорчив самодовольную рожицу, показал ему язык — мол, видал, как со мной? Я — любимчик.

Тимофей молча ждал. Выставив вперёд упрямый подбородок, он стоял чуть в стороне, сжав кулаки так крепко, что побелели костяшки пальцев.

Я не стала его уговаривать. Просто протянула ему мыло и взяла в руки кувшин.

Он подошёл, не глядя на меня. Руки мыл сам — быстро и решительно: ладони, пальцы, ногти. Даже закатал рукава, как я делала его брату, и вымыл запястья. Только вот с лицом не задалось — разводов грязи на висках и шее меньше не становилось.

— Давай я, — сказала тихо, почти шёпотом.

Он не ответил, но и не отстранился, только затаил дыхание, повернув ко мне лицо.

Я аккуратно намылила руки и бережно принялась отмывать его щёки, виски и шею. Он стоял, как статуя, не шелохнувшись. Но в этом застывшем напряжении не чувствовалось злости — только сдержанная, осторожная уязвимость, как у дикого зверька, к которому неожиданно прикоснулись с лаской.

Когда я вытерла его лицо полотенцем, он молча отступил к брату.

Прежде чем умыться, я машинально сняла с головы шляпку — тёмную, с круглым жёстким каркасом, плотной тканью, кружевной отделкой и тугой лентой, завязанной под подбородком аккуратным бантом.

Внутренний голос тут же взвыл: “Господи, да это же капор! Капор! Какое уродство...” Я повесила её на гвоздь и наклонилась над тазом.

Я умывалась не спеша, с наслаждением, как после долгой дороги. Мальчики суетились рядом: Тимофей ловко поливал мне на руки из кувшина, а Савелий держал полотенце, всем своим видом изображая важность. Вдруг, осмелев, он шагнул ближе, и протянул ко мне руку. Когда я чуть наклонила к нему лицо, он с серьёзным видом осторожно потёр ладошкой моё лоб.

— Вот, — прошептал довольный. — Теперь совсем чисто.

А потом, внезапно засмутившись, юркнул за спину брата, выглядывая оттуда с робкой улыбкой.

Когда я закончила умываться, мы вместе вернулись в кухню. Женщина у печи окинула нас внимательным взглядом, и крикнула:

— Марья, проводи.

Из соседней комнаты вышла девочка лет пятнадцати, стройная, в тёмном платье с передником. На плечах — выцветшая шаль, волосы туго заплетены в две тёмные косы. Лицо худощавое, серьёзное не по возрасту, с тонкими, но такими знакомыми чертами. Она склонила голову в поклоне и тихо, безэмоционально произнесла:

— Маменька, позвольте вас проводить в столовую.

От неожиданности я едва не отозвалась привычным «спасибо», но вовремя прикусила язык. Девочка уже повернулась, легко ступая по дощатому полу, а я осталась стоять, как вкопанная.

Дочь? Моя дочь?! Если ей... пятнадцать лет, то сколько же лет мне?!

Я уставилась ей вслед, не в силах сдвинуться с места. Она не кинулась ко мне когда вошла, даже не улыбнулась, просто присела в почтительном поклоне, будто перед чужой.

В груди разлился холод. Почему она смотрит так равнодушно, но говорит — “маменька”? Вспышкой пронеслось: что же я с ней сделала?

Оглянувшись, я встретила взгляды мальчиков — напряжённые и внимательные. Будто они чего-то от меня ждали...

Глава 3

Марья шла впереди, молча, не оборачиваясь. Я спешила за ней, стараясь не отставать, хотя тяжёлый подол юбки путался в ногах — мокрый от уличной грязи, он тянул вниз, будто налитый свинцом.

У дверей в комнату Марья остановилась и ногой пододвинула ко мне плетёный коврик. В памяти всплыло слово — *рогожа*: грубая, жёсткая, плетёная из пеньковых волокон, получаемых из стеблей конопли. Такие половики стелили у порога, чтобы не нести грязь в дом.

Я замаялась, не сразу поняв, чего от меня ждут. Счищать сапоги? Переобуться? Или ждать, пока скажут? Лихорадочно оглядевшись, я заметила у стены башмачки, похожие на домашнюю хозяйскую обувь. Очевидно, мне следовало переобуться.

Неловко опершись о стену, я встала на жёсткую рогожу и начала стягивать сапоги. Кожа задубела от влаги, и я чуть не потеряла равновесие, выдёргивая ногу из голенища. Марья не шелохнулась — только молча пододвинула ко мне домашнюю обувь, когда увидела, что я уже босая стою на гладком, до блеска высокобленном полу. От досок тянуло стылой сыростью, и ступни в мокрых шерстяных чулках моментально свело от холода. Башмачки оказались тёплыми, с мягкой гнущейся подошвой, похожие скорее на тапки — без каблука, без застёжек, мягкие, лёгкие, чуть стоптанные, но удивительно удобные.

Я невольно посмотрела на ноги Марьи — и замерла. Сплетённые из светлого лыка — я узнала их сразу. В Коломенском музее показывали точно такие же — плетёные вручную, из внутренних волокон липовой коры. Экскурсовод рассказывала, что лыко сначала вымачивали, сушили и резали на длинные ленты, а потом вручную плели обувь — дёшево и быстро. Тогда всё это казалось таким далёким музейным... атрибутом прошлого. А теперь вот они — настоящие лапти из лыка на ногах живого человека. У меня перехватило дыхание. Мысль ударила: я нахожусь не просто в чужом доме, а в другой эпохе, в другом мире. И тут что-то другое кольнуло — почему у меня, “маменьки”, пусть и простенькие, но аккуратные башмачки, а у моей дочери — крестьянские лапти?..

Что вообще здесь происходит?

Марья уже открыла дверь, и я вслед за ней вошла в просторную комнату с высоким потолком и широким окном в резной раме. Стекло — мутное, с пузырьками, не совсем ровное — затянуто тонким тюлем с простым, но аккуратно вышитым узором. Сквозь него мягко просачивался свет, как сквозь марлю, и ложился на пол бледными пятнами.

Пахло сдобой и чем-то молочным — и ещё едва уловимо: дымом, впитавшимся в стены за долгие годы топки.

Судя по обстановке, это и была столовая. Пол покрыт широкой доской, потемневшей от времени, но чистой. У стены — старинный буфет с медными ручками и стеклянными дверцами, за которыми тускло блестели фаянсовые тарелки. Посреди комнаты стоял длинный дубовый стол — тяжёлый, с изогнутыми ножками, рядом — скамья и несколько стульев с прямыми спинками.

На столе, накрытом чистым полотном, большой пирог: высокий, слоистый, румяный, с блестящей от яйца, запечённой коркой; рядом — мисочка с густым вареньем, по цвету — вишнёвым, пузатая крынка с мёдом и несколько ломтей ржаного хлеба: тёмного, с плотной коркой и чуть влажным, пористым мякишем. От него пахло кислым тестом и жаром печи — тёплым и терпким.

Марья остановилась у стены, сложила руки на переднике и застыла. Голова чуть опущена, плечи выпрямлены. Она не издавала ни звука и ни разу не взглянула на меня. Её выдавало только одно — напряжённое, сдержанное ожидание, будто она стояла перед кем-то выше по чину.

Я медленно подошла к столу и оглядела еду. Всё выглядело очень аппетитно: тёплый запах печёного теста, варенья и мёда витал в воздухе, и от него свело желудок. Но...

На столе была всего одна миска, одна ложка, одна тарелка, накрыто — на одного.

Я медленно повернулась к Марье, соображая, как спросить, не выдав себя.

— А что, Марья... вы с Тимофеем и Савелием ещё не обедали? — спросила я как будто между прочим, нарочно добавив лёгкости в голос, будто в моём вопросе не было ничего особенного.

Марья удивлённо моргнула. Взгляд её скользнул по моему лицу, будто она пыталась что-то понять, но тотчас отвела глаза.

— Как обычно, позже, — тихо сказала девочка, равнодушно пожимая плечами. — На кухне, у печки, с бабой Аксиньей.

Фух. Хоть имя этой вредной бабки узнала. Аксинья... В голове тут же всплыло: «Окстись, Аксинья!» — и я едва сдержала нервный смешок. Смех был совершенно неуместен, но мозг, похоже, изо всех сил пытался сбросить хоть часть напряжения, копившегося с той самой минуты, как я очнулась в незнакомом месте, окружённая чужими лицами.

Слишком много всего: событий, запахов, голосов, взглядов и всё вперемешку, без времени на передышку. И вот теперь, стоя посреди комнаты в полной тишине, я вдруг отчётливо поняла: кажется, я по уши увязла в чужой жизни.

Какое там у меня было желание — перед тем, как я упала у метро? Начать жить по-настоящему, полной жизнью: семья, дети, заботы...

Мечты ведь сбываются, да. Вот только не зря говорят: бойтесь своих желаний. Кажется, я действительно получила то, что хотела — новую жизнь. Ну что ж, ешь теперь эту новую жизнь ложкой, Катя, не подавись.

Но это ещё не значит, что я собираюсь плыть по течению. Я вспомнила выражения лиц Тимофея и Савелия. Перевела взгляд на Марью — всё так же неподвижную, с опущенной головой. Ну уж нет. В этот раз — нет. Я не буду плыть по течению. Да, кажется, это будет непросто. Но ведь я и не просила, чтобы было просто, правда? Начать с начала. Ну что ж — начнём.

Я выпрямилась.

— Марья, помоги мне, пожалуйста. Отнесём это в кухню. Я... пожалуй, сегодня пообедаю с вами.

— Обратно?.. — Марья подняла глаза.

— Да. Подай, пожалуйста... — я замялась, оглядываясь в поисках чего-то, хоть отдалённо похожего на поднос.

Марья молча подошла к лавке, взяла плоскую строганую дощечку с низким бортиком и начала складывать на неё еду — пирог, миску с вареньем, крынку с мёдом.

Я взяла корзинку с нарезанным хлебом и мы понесли еду обратно. Я старалась держаться уверенно, будто именно так и было задумано с самого начала.

Глава 4

Мы вернулись на кухню. Марья принялась быстро расставлять всё по местам: мёд и варенье она убрала в стоящий в углу шкафчик — невысокий, с тёмной резной дверцей, больше похожий на буфет. Он примостился у стены рядом с широким столом, на котором теснились крынки, стеклянные банки, деревянные чашки — всё было расставлено аккуратно, по хозяйски.

Слегка поклонившись, Марья забрала у меня корзинку с хлебом и, не говоря ни слова, поставила её на нижнюю полку. Затем закрыла дверцу буфета, аккуратно повернув щеколду — простую дощечку, вращающуюся на гвозде.

Пирог, заботливо прикрыв полотенцем, она поставила на полку у печи — туда, где, по всей видимости, держали еду в тепле, чтобы не остыла.

В кухне за столом уже сидели дети, Тимофей и Савелий, а у окна, повернувшись вполоборота, — бабка. Перед каждым стояла деревянная миска с кашей. От неё поднимался густой пар, а сверху медленно таял ломтик желтоватого масла, растекаясь по крупинкам, оставляя золотистые разводы. Ещё одна миска с кашей стояла видимо для Марьи. Все трое, услышав наши шаги, подняли головы и одновременно посмотрели на меня, глядя с растерянностью.

Я, не зная, как себя вести, невольно застыла в проёме.

Но тут вдруг Савелий живо соскочил с места, ловко сдвинул лавку и подбежал ко мне.

— Маменька!.. — выдохнул он, схватив меня за руку. — Пойдёмте... садитесь.

Он потянул меня к столу, усаживая рядом с собой. Ну хоть кто-то рад меня видеть. Я подошла к лавке сбоку, придерживая рукой тяжёлый подол, постаралась сесть грациозно — насколько это вообще возможно в такой широкой юбке.

Стоило ощутить запах каши за столом, как в животе заурчало. Я невольно приложила ладонь к животу, голод уже разыгрался всерьёз.

— Я пожалуй... тоже кашу буду. — произнесла я.

В кухне повисла пауза. Бабка Аксинья, стоявшая у печки и перекладывавшая чугунок с кашей поближе к устью — туда, где теплее, повернулась, хмуро поджав губы. Лицо её исказилось явным раздражением.

— Каши, Екатерина Ивановна, изволите?.. — протянула она, глядя исподлобья. — А её, стало быть, лишней и не варили. Всё, как водится: ребятам, да мне малость. А вам... да откуда ж мне знать, что вы с нами, стало быть, откусать изволите? — Она вытерла ладони о передник и добавила, уже с тенью ехидства: — Кабы ведала, что такая охота на вас найдёт, авось бы и поболее поставила... а так — как заведено.

Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Похоже, эта женщина привыкла распоряжаться всем, что происходит в доме, — и сейчас ей явно не по нраву, что я нарушаю заведённый порядок.

Но я молча поднялась и подошла к печи. Рядом с пирогом, на подпечке, стоял чугунок — чёрный, закопчённый, с тяжёлой крышкой. Я огляделась и заметила рядом деревянную дощечку с выемкой на конце — точно такую я видела в музее в Коломенском: ею поддевали раскалённые крышки. Когда я осторожно приподняла крышку, знутри повалил густой пар — каша ещё томила, пахла пшёнкой и топлёным молоком.

— Вот же она, каша, — сказала я твёрдо. — Осталась. Стоит себе...

Аксинья недовольно поджала губы.

— Стоит... стоит... — пробурчала она, почти себе под нос. Затем повернулась к Марье: — Марья, положи каши, да ложку дай.

Потом уже мне, с укором:

— Ща уж... масла принесу, коли не шутите...

Она подошла к углу, откинула тяжёлую крышку в полу — ту, что вела в холодный подпольный погреб, — и, кряхтя, полезла вниз.

Дети молчали. Тимофеем опустил глаза, Савелий сидел неподвижно. Оба притихли, явно ждали — что будет дальше. Акси́нья шумела где-то в подполье, на кухне стояла тревожная тишина.

Я знала — надо как-то разрядить обстановку. Момент был подходящий: бабки не было, Марья стояла у печи, дети ждали. Я глубоко вдохнула, распрямила плечи. В конце концов, я — мать. И, похоже, хозяйка этого дома. Я подошла к буфету в углу и, покрутив деревянную щеколду — ту самую, что вращалась на деревянном гвозде, — приоткрыла дверцу. Осторожно достала тяжёлую крынку с мёдом. Обожжённая глина приятно холодила пальцы, а крышка держалась на пеньковой верёвочке.

Мёд был густой, тягучий, тёплого янтарного цвета, с мелкими пузырьками на поверхности. Он пах... как луговое разнотравье в жаркий полдень — будто внутри крынки заперли само лето.

Я взяла деревянную ложку с длинной ручкой со стола и зачерпнула мёда. Добавила немного в кашу Савелию. Потом — Тимофею, Марье, даже вредной бабке, и, наконец, себе. Мальчишки переглянулись. У младшего вспыхнули глаза, полные удивления и восторга.

Я вернулась к буфету, достала плетёную корзинку с хлебом и мисочку с вишнёвым вареньем, густым, ароматным, с мягкими, почти целыми ягодами.

По очереди намазала на ломти хлеба — ровно, аккуратно, до самых краёв. Тарелок так и увидела а стол показался мне достаточно чистым. Положила ломти хлеба рядом с мисками каши.

Я чувствовала на себе взгляды. Даже не надо было поднимать голову.

В кухне повисла тишина. Только в углу потрескивали угли, да из подпола доносилось глухое ворчание Акси́ньи:

— Масло-то, небось, изведут... а есть не будут... Простая ей каша, значит, не по нутру! Всё ж ей не так — то жидка, то густа... А теперь, глядишь, сдвинет в сторонку, как всегда, и ладно, что масло переводим!

Я обернулась к детям.

— Угощайтесь, — сказала я и села на своё место.

Они не двигались. Просто смотрели на меня.

— Давайте, — повторила я, мягко. — Ешьте, пока не остыло.

Тимофеем первым дёрнулся, осторожно взял ломоть обеими руками, будто боялся уронить, и принялся жевать. Потом — откусил. Савелий глянул на него и мигом схватил свой — и начал жевать, заглатывая так торопливо, будто боялся, что кто-то отберёт.

Марья подошла медленно, сдержанно, села, взяла свой ломоть и опустила глаза, не сказав ни слова.

И тут из люка появилась Акси́нья, с глиняной крынкой масла в руке.

Она окинула всех взглядом и прищурилась.

— А молиться-то? — буркнула она, ставя масло на стол с тяжёлым стуком. — Что ж вы...? Без молитвы — за стол, как нехристи.

Я внутренне вздрогнула. Конечно. Люди раньше начинали трапезу с молитвы. Но как — сидя? стоя? вслух? Отец с мачехой читали молитву, сидя за столом. А тут как принято?

Тем временем Тимофеем вскочил. Савелий — следом за ним, торопливо подтягивая штанишки. Марья поднялась неторопливо и встала рядом с бабкой. Все трое повернулись к углу, где на чистой, выбеленной стене висела небольшая икона в тёмной рамке и лампадка — без огня, из тёмно-красного стекла, тщательно вычищенная. Под иконой — вышитое полотенце, с узорами в красно-синюю нитку. Семейный красный угол.

Все одновременно осенили себя крестом — с правой руки, неспешно и вдруг одновременно заговорили. Голоса звучали слаженно:

— Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое...

Я поднялась вместе с ними и склонила голову. Молитву я помнила лишь отрывками — начало да пару строк. Произнести её вслух... сейчас не решилась. Ещё не хватало перепутать слова, сказать что-нибудь не то. Поэтому просто шевелила губами, стараясь попадать в ритм, будто тоже молюсь. Пусть не по-настоящему, пусть в полголоса — зато, надеюсь, никто не заметит.

После «Аминь» повисла короткая, чуть натянутая пауза. Я опустила на лавку, выдавила улыбку и, стараясь говорить просто и по-доброму, сказала:

— Приятного аппетита.

И едва слова слетели с языка — мысленно выругалась. Ну вот зачем? Кто тебя за язык тянул, Катя...

В ответ — молчание. Все четверо переглянулись, будто я вдруг заговорила на китайском.

— Приятного... чего? — переспросил Тимофей, нахмурившись.

— Аппетита, — подсказала я мягко.

— Приятного апи-тита, маменька, — старательно, по-слогам, произнёс Савелий.

— Приятный Тит... — пробормотал Тимофей, не то вслух, не то себе под нос. Савелий прыснул, прикрыв рот рукой.

— Эвона как, — с досадой проворчала Аксинья, плюхаясь на лавку. — Понацепляли словечек-то... “апий тит” какой-то... Хде ж такому учат, а? И кто такой сей Апий Тит, приятный, спрашивается?..

— Так теперь, говорят, принято, — поспешно сказала я, стараясь поскорее замять тему.

Аксинья что-то буркнула себе под нос, недовольно качнув головой, и зачерпнула ложкой кашу.

«Пронесло, » — с облегчением подумала я и, вздохнув, принялась за еду.

Глава 5

Каша была пшённой — зёрна разварились до мягкости, но не слиплись, оставались рассыпчатыми. Сверху медленно таяло густое, деревенское масло, и мёд, делая кашу чуть сладкой — без приторности, с лёгкой травяной ноткой. Всё было просто — но так вкусно, что я ела не спеша, смакуя.

За столом было тихо — все ели молча и сосредоточенно, слышен был лишь негромкий стук ложек о деревянные миски. Похоже, тут за едой не болтают — принято есть спокойно, не отвлекаясь.

Тимофей ел размеренно, сосредоточенно. Савелий, наоборот, лопал с таким усердием, ложка так и мелькала — он, кажется, даже не жевал толком. Марья сидела чинно, спину держала прямо, но по всему было видно, что она напряжена, будто боялась сделать лишнее движение.

Когда ложка в его руке наконец остановилась, Савелий шумно выдохнул, отставил миску и — не дожидаясь ни слова, ни разрешения — соскользнул с лавки. Взял свою деревянную миску, ложку и понёс к печи. Остановился у полки рядом, поставил посуду аккуратно — видно, знал, где ей место. Там уже стояли две кружки и опрокинутый ковшик. Он повернулся обратно, бросив взгляд на бабуку — та кивнула едва заметно, одобряя.

Я проследила за ним глазами и только теперь заметила: у печки, в углу, стояла деревянная кадка, накрытая крышкой. Видимо, там потом будут мыть посуду. А пока — просто ставят рядом.

— Слава Тебе, Боже, — пробормотал он тихо, перекрестившись.

Потом вернулся на своё место, вытер рот рукавом, сел рядом, поелозил по лавке, двигаясь ближе ко мне, и в конце концов прижался к моей левой руке. Притих, не глядя. Я машинально подняла руку. Он вжал голову в плечи, но не отодвинулся.

Я обхватила его за узкое, острое плечико, осторожно прижала к себе и ладонью провела по взъерошенным тёмным волосам.

Он не шелохнулся. Только глубоко вздохнул и прижался ко мне ещё плотнее.

Так я и ела одной рукой, бережно придерживая Савелия другой. Только спустя пару мгновений до меня дошло, что что-то тут не так. Слышно было только мою ложку — ровный, монотонный стук по краям деревянной миски.

Я замерла, подняв голову. Все трое — Тимофей, Марья и даже Акси́нья — сидели неподвижно и смотрели прямо на меня. Точнее, на нас. Но стоило мне поднять на них взгляд — тут же дружно заскребли ложки, будто только и делали, что ели всё это время. Каждый уткнулся в свою миску, не поднимая глаз.

Я едва сдержала улыбку. Савелий тем временем всё так же сидел, прижавшись ко мне, тихий, тёплый и доверчивый.

Закончили есть мы почти одновременно.

— Тимофей, самовар поставь, — бросила Акси́нья через плечо, поднимаясь с лавки.

— Сейчас, — быстро кивнул Тимофей и юркнул к двери.

В сенях глухо грохнуло, а потом он вернулся, неся пузатый медный самовар с латунными ободками. Я не сводила с него глаз, пока он поставил его на низенький столик у печи, принёс чугунок с водой, налил воду внутрь, засыпал в жаровню уголь, добавил щепок и чиркнул огнём. Вскоре в трубе зашипело, потянулся лёгкий дымок.

Я отставила миску и уже поднялась, чтобы отнести посуду, как вдруг хлопнула дверь. И в кухню быстро, почти стремительно вошёл молодой человек.

Высокий, худощавый, в тёмной телогрейке и слегка потёртых сапогах, он шагнул внутрь и прикрыл за собой дверь. Щёки красные от мороза, волосы взъерошены, взгляд внимательный

— чуть насупленный, настороженный. Лицо резкое, смугловатое, почти взрослое, но в то же время ещё юношеские. Чёрные брови, прямой нос, чуть ввалившиеся щёки, как у тех, кто растёт быстро и много работает. Он молча окинул нас взглядом. На вид — лет восемнадцать, может чуть меньше.

— Здорово, — бросил он негромко, кивая, — я дома.

Младшие вскочили первыми.

— Брааат! — Савелий кинулся к нему и повис у него на руке.

— Ты пришёл! — выдохнул Тимофей и, подбежав, тоже приобнял его.

А я... я застыла посреди кухни, не двигаясь, с пустой миской в руках. *Брат?* Значит, у меня — четверо детей. И старшему... восемнадцать? У меня взрослый сын?! Голова шла кругом.

Юноша чуть улыбнулся братьям, кивнул сестре, потом посмотрел на меня, быстро и внимательно. В его взгляде промелькнуло что-то вроде тревоги. Он не обнял братьев, только похлопал по плечу, коротко, по-мужски. И всё это время краем глаза следил за мной.

Видимо так и не поняв что происходит, недоуменно обернулся к бабке. Та не подошла, только скосила глаза:

— А чего, блажь у нас, стало быть, — буркнула она, косясь в мою сторону. — Екатерина Ивановна нынче на кухне изволят отобедать... да ещё и кашу-то твою, Ванюша, слопали.

Я покраснела. Кто ж знал, что та каша, выходит, была для него. Поднялась резко, взяла свою миску и ложку и, проходя мимо вредной старухи, чуть склонившись, процедила сквозь зубы:

— Могли бы и сказать, что каша была для Вани.

— А я, и сказала, — ворчливо прошептала та в ответ, — Да вы ж всё по своему, Екатерина Ивановна, делаете. Куда уж вам старуху слушать...

Мальчишки тем временем поволокли брата к умывальнику. В сенях за стенкой зазвучали оживлённые голоса, перебивая друг друга:

— Вань, ты шею мой! Шею, говорю!

— И рукава закатай, во!

— И щеки не забудь! Вон на лбу у тебя грязюка какая!

Иван посмеивался вполголоса, чуть смущённо. Потом раздалось фырканье, плеск воды и приглушённое сопение.

Через пару минут он вернулся, остановился на пороге, будто набираясь решимости.

— Маменька... — произнёс он негромко. И, чуть помедлив, добавил:

— Папенька изволили остаться нынче на ночь на пивоварне. Сказали, чтобы не ждали.

Я посмотрела на него — было видно как он напрягся всем телом. Я кивнула.

— Садись, поешь.

И сама удивилась, как спокойно это прозвучало. Если он думал, что меня этим расстроит — то ошибался. С меня и без того сегодня хватило: четверо детей, сварливая старуха, чужой дом... и Бог знает какой век. Так что, то, что муж не пришёл домой, было скорее благом — знакомиться ещё и с ним сил уже не оставалось. Хоть одна отсрочка в этом безумном водовороте чужой жизни.

Я вернулась к печи, взяла пирог — тёплый, пахнувший сдобой и мясом, с румяной, чуть треснувшей корочкой, из-под которой едва сочился сок, — и поставила его перед Иваном.

На другом конце стола Аксинья осела на лавку, будто ноги сами подогнулись. Рот её остался приоткрыт, глаза округлились. Она даже перекрестилась мелко, незаметно, как от дурного знамения, и пробормотала еле слышно:

— Так ведь... это ж из мясной лавки... Его ж никому не дозволено...

Иван молча достал из-за пояса складной нож с потемневшей деревянной ручкой и положил на стол рядом с пирогом. Вилка я не видела — чем тут едят пироги, понятия не имела, но надеялась, что он разберётся.

Обернувшись к застывшим детям, я улыбнулась:

— Марья. Мальчики. А ну-ка — умываться. Живо.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.